

Красавицы — эпизод 3 из 3

Была ли это у меня зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не моя и никогда не будет моею и что я для нее чужой, или смутно чувствовал я, что ее редкая красота случайна, не нужна и, как всё на земле, не долговечна, или, быть может, моя грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты, бог знает!

Три часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпо съездил к реке, выкупал лошадь и уж стал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпо кричал на нее наза-ад! Проснулся дедушка. Маша со скрипом отворила нам ворота, мы сели на дроги и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердились друг на друга.

Когда часа через два или три вдали показались Ростов и Нахичевань, Карпо, всё время молчавший, быстро оглянулся и сказал:

А славная у армяшки девка!

И хлестнул по лошади.

В другой раз, будучи уже студентом, ехал я по железной дороге на юг. Был май. На одной из станций, кажется, между Белгородом и Харьковом, вышел я из вагона прогуляться по платформе.

На станционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень; вокзал заслонял собою закат, но по самым верхним клубам дыма, выходявшего из паровоза и окрашенного в нежный розовый цвет, видно было, что солнце еще не совсем спряталось.

Прохаживаясь по платформе, я заметил, что большинство гулявших пассажиров ходило и стояло только около одного вагона второго класса, и с таким выражением, как будто в этом вагоне сидел какой-нибудь знаменитый человек. Среди любопытных, которых я встретил около этого вагона, между прочим, находился и мой спутник, артиллерийский офицер, малый умный, теплый и симпатичный, как все, с кем мы знакомимся в дороге случайно и не надолго.

Что вы тут смотрите? спросил я.

Он ничего не ответил и только указал мне глазами на одну женскую фигуру. Это была еще молодая девушка, лет 17-18, одетая в русский костюм, с непокрытой головой и с мантилькой, небрежно наброшенной на одно плечо, не пассажирка, а, должно быть, дочь или сестра начальника станции. Она стояла около вагонного окна и разговаривала с какой-то пожилой пассажиркой. Прежде чем я успел дать себе отчет в том, что я вижу, мною

вдруг овладело чувство, какое я испытал когда-то в армянской деревне. Девушка была замечательная красавица, и в этом не сомневались ни я и ни те, кто вместе со мной смотрел на нее.

Если, как принято, описывать ее наружность по частям, то действительно прекрасного у нее были одни только белокурые, волнистые, густые волосы, распущенные и перевязанные на голове черной ленточкой, всё же остальное было или неправильно, или же очень обыкновенно. От особой ли манеры кокетничать или от близорукости, глаза ее были прищурены, нос был нерешительно вздернут, рот мал, профиль слабо и вяло очерчен, плечи узки не по летам, но тем не менее девушка производила впечатление настоящей красавицы, и, глядя на нее, я мог убедиться, что русскому лицу для того, чтобы казаться прекрасным, нет надобности в строгой правильности черт, мало того, даже если бы девушке вместо ее вздернутого носа поставили другой, правильный и пластически непогрешимый, как у армяночки, то, кажется, от этого лицо ее утеряло бы всю свою прелесть.

Стоя у окна и разговаривая, девушка, пожимаясь от вечерней сырости, то и дело оглядывалась на нас, то подбочивалась, то поднимала к голове руки, чтобы поправить волосы, говорила, смеялась, изображала на своем лице то удивление, то ужас, и я не помню того мгновения, когда бы ее тело и лицо находились в покое. Весь секрет и волшебство ее красоты заключались именно в этих мелких, бесконечно изящных движениях, в улыбке, в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в сочетании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью, с чистотою души, звучавшею в смехе и в голосе, и с тою слабостью, которую мы так любим в детях, в птицах, в молодых оленях, в молодых деревьях.

Это была красота мотыльковая, к которой так идут вальс, порханье по саду, смех, веселье и которая не вяжется с серьезной мыслью, печалью и покоем; и, кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пойти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль.

Тэк-с... пробормотал со вздохом офицер, когда мы после второго звонка направились к своему вагону.

А что значило это тэк-с, не берусь судить.

Быть может, ему было грустно и не хотелось уходить от красавицы и весеннего вечера в душный вагон, или, быть может, ему, как и мне, было безотчетно жаль и красавицы, и себя, и меня, и всех пассажиров, которые вяло и нехотя брели к своим вагонам. Проходя мимо станционного окна, за которым около своего аппарата сидел бледный рыжеволосый телеграфист с высокими кудрями и полинявшим скуластым лицом, офицер вздохнул и сказал: Держу пари, что этот телеграфист влюблен в ту хорошенькую. Жить среди

поля под одной крышей с этим воздушным созданием и не влюбиться выше сил человеческих. А какое, мой друг, несчастье, какая насмешка, быть сутулым, лохматым, сереньким, порядочным и неглупым, и влюбиться в эту хорошенькую и глупенькую девочку, которая на вас ноль внимания! Или еще хуже: представьте, что этот телеграфист влюблен и в то же время женат и что жена у него такая же сутулая, лохматая и порядочная, как он сам... Пытка! Около нашего вагона, облокотившись о загородку площадки, стоял кондуктор и глядел в ту сторону, где стояла красавица, и его испитое, обрюзглое, неприятно сытое, утомленное бессонными ночами и вагонной качкой лицо выражало умиление и глубочайшую грусть, как будто в девушке он видел свою молодость, счастье, свою трезвость, чистоту, жену, детей, как будто он каялся и чувствовал всем своим существом, что девушка эта не его и что до обыкновенного человеческого, пассажирского счастья ему с его преждевременной старостью, неуклюжестью и жирным лицом так же далеко, как до неба.

Пробил третий звонок, раздались свистки и поезд лениво тронулся. В наших окнах промелькнули сначала кондуктор, начальник станции, потом сад, красавица со своей чудной, детски-лукавой улыбкой...

Высунувшись наружу и глядя назад, я видел, как она, проводив глазами поезд, прошла по платформе мимо окна, где сидел телеграфист, поправила свои волосы и побежала в сад. Вокзал уж не загораживал запада, поле было открыто, но солнце уже село, и дым черными клубами стлался по зеленой бархатной ози. Было грустно и в весеннем воздухе, и на темневшем небе, и в вагоне.

Знакомый кондуктор вошел в вагон и стал зажигать свечи.